

У МЕНЯ НЕ БЫЛО ПАПЫ

Грань рюмки дробила свет на десятки малиновых бликов, золотые огоньки вспыхивали и гасли, лучи сбегались в звезды, квадраты, треугольники. Вино искрилось, будило в душе забытое опьянение запахами дурманных трав, острым после дождя воздухом, щекочущим ноздри и вызывающим желание бежать по степи, раскинув руки, как крылья, и ногами не касаться земли.

Впервые в жизни он понял коварную притягательную силу вина и стал сочувствовать соседу Василию, человеку спившемуся и жалкому. Приставив рюмку близко к самому глазу, он подолгу рассматривал ее на свет, потом выпивал и заказывал еще. Он пил и не пьянел, только в груди теплело, оттаивал льдистый комок, зажимавший сердце в холодные клещи, какая-то пружина отпустила, и он снова, как и прежде, как и всю жизнь, мог доверчиво и снисходительно глядеть вокруг: выпив, он снова становился славным и добрым.

В бригаде его звали Толиком, и происходило это не от недостатка уважения, просто парни любили своего бригадира. Если бы ребята спросили, что за человек их бригадир и за что они его любят, может быть, они и не смогли бы вразумительно ответить на этот вопрос. А может, кто-нибудь и вспомнил бы прошлогоднюю историю с цистерной из-под бензина.

Все ребята в бригаде обзавелись мотоциклами, а с бензином на стройке тяжело, бензоколонки — только на кальке в карандаше. Парни приспособились добывать бензин на железнодорожной станции из порожних цистерн: на самом дне после слива всегда оставалось несколько десятков литров. Обычно ведром, привязанным к веревке, вычерпывали остатки, стоя наверху, но

в тот раз здоровенный сварщик Юра Семенов, то ли пожадничал, то ли понадеялся на свою силу, взял ведро и спустился вниз, внутрь цистерны. Он успел только наклониться к масляно блестящей жидкости — острые пары бензина в раскаленной на солнце цистерне ударили в нос, в глаза, затопили голову красным светом, и Юра упал на дно. Вниз кинулся его сменщик Виталька, парнишка хлипкий, и свалился, даже не успев коснуться ногами дна. Их обоих вытащил Толик, и то, что он случайно оказался на станции в этот день, спасло Юре жизнь. Толик прибежал, когда вокруг цистерны уже толпилось несколько человек, двое заглядывали внутрь, а спускаться никто не решался. Очень уж ощутимо тянуло смертью из широкого темного горла. Правда, Толика тоже вытащили на веревке, хорошо, что он сразу привязал себя под мышками, и дольше всех лежал в больнице он. Может, кто и вспомнил бы прошлогоднюю историю, а может, и нет. Парни относились к бригадиру хорошо, потому что по-другому к нему относиться было нельзя.

А теперь их бригадир пил. Вернее, не пил, а наливался вином каждый вечер вот уже целую неделю подряд.

Недавно выпала ему командировка, и по дороге он мог заскочить домой. Полгода Толик не видел своих, он соскучился и ехал, торопясь, не предупредив жену ни письмом, ни телеграммой. На вокзале купил сыну Алешке каких-то конфет в пыльной коробке и всю дорогу спал. Подушка в поезде пахла волосами жены. Толик просыпался, сладко жмурился и снова засыпал, стараясь наверстать в дороге упущенные бессонные часы ночей, полных забот, телефонных звонков, топота и шума молодежного общежития.

Приехал поздно вечером, добрался на такси и загляделся на освещенное окно спальни. Таня ложится поздно, и ему, возвращаясь, всегда хочется постоять у освещенного окна. В ситцевом халатике Татьяна подошла к окну и, откидывая голову назад, стала расчесывать волосы на ночь. Белые обнаженные руки легко вспархивали и гладили белокурую струю волос. Они были похожи на птиц, и красная расческа тоже походила на яркую птицу. Потом кто-то подошел к Тане, большой тенью обнял ее за беспомощные плечи и смял, и спутал пряди легких волос, рука по-хозяйски потянулась к выключателю, и окно погасло.

Анатолий уже давно видел, как тот стоял рядом с его Таней, как подошел, как обнял, он все это видел и не мог понять, не хотел понимать.

Окно погасло, темнота заложила уши, и в голове гудело, как при большом непереносимом шуме.

Он до утра просидел на скамейке в сквере, напротив окон своей квартиры и не решался войти, и не мог уйти, уехать от этих окон. Кажется, он даже спал.

Когда солнце брызнуло в окно горстью ослепительных брызг, ему на короткий миг показалось все это плохим сном, навеянным усталостью и прохладой сырой ночи. Он поднялся и вошел в подъезд. Его опередила молочница. Дверь на втором этаже, дверь его квартиры, хлопнула, и Танин голос попросил две бутылки кефира. Две, а не одну. Алешка уже второй месяц жил в совхозе у бабушки. «Она попросила две бутылки кефира. Две», — подумал он бессмысленно и обреченно. Мелькнула пола ее цветного халатика, и дверь захлопнулась.

* * *

Анатолий, поджав ноги к подбородку, сидит на берегу тихой степной речки Нуринки и думает. По воде суетливо плывут камышинки, листья и все мимо, мимо него, мимо кустов ивняка, не задерживаясь, как и мысли какие-то мелкие, легкие, мельтешат, мельтешат и надолго не задерживаются,

уплывают. Вот посередине плывет что-то тяжелое, медленно и плавно разворачивается по течению.

Об Алешке думается тяжело и печально. Был сын, мальчишка по четвертому году, летом сильно загорал, а ляжки от штанишек крест-накрест оставались белыми. Мальчишка любил купаться, взвизгивая от восторга, падал у берега в воду и «плыл» толстым животом по песку. Потом он дрожал на берегу, укрытый полотенцем, и с наслаждением слизывал с ладошек подсыхающие песчинки. Татьяна видела и сердилась, даже била Алешку по рукам. А он хватал ревущего мальчишку и подбрасывал вверх. Алешка открытым ртом заглатывал воздух, а глаза его были полны восторга и страха.

Руки Анатолия помнили тепло и тяжесть маленького тельца, его губы хранили нежность коленей ребенка. Он закрыл лицо руками, ему почудилось, что ладони все еще пахнут сладковато и нежно.

А теперь его Алешка, баловень, папин сынок, будет расти без отца.

Анатолий и сам всю жизнь носил фамилию матери и рос без отца. Если бы его попросили припомнить самое сильное впечатление его детства, он назвал бы минуту... Это было в пятом классе, все писали сочинение на тему «Мой папа на работе», а он не писал. Он сидел и думал: разве так бывает, чтобы дети рождались без отца?.. Значит, бывает... Своего он ни разу не видел, мать о нем никогда ничего не говорила, а спрашивать... Анатолий уже давно понимал, что спрашивать ее об этом не надо. При этом вопросе ее лицо сразу некрасиво морщилось, глаза просили о жалости, а левая бровь страдальчески сламывалась пополам. Она гладила его по голове, обнимала, сажала за стол и все заставляла: ешь, ешь и подкладывала все лучшее, а сама не ела и часто плакала. Самое страшное было в том, что она плакала молча. Прозрачные крупные слезы скатывались по лицу на руки, на цветастую кофту, иногда падали на стол и звучно шлепались, разбиваясь о

клеенку.

В начале каждого месяца мать брала свою книжечку и шла получать пособие: его мать называли скучными и обидными словами: «мать-одиночка».

Многие женщины остались в войну без мужей, невесты без женихов, и этих, которым теперь уже за сорок, он понимал и как мог оправдывал в своих глазах... Его мать всю жизнь чувствовала себя виноватой перед ним, перед своим сыном, хотя ведь она и не обязана ему в чем-либо отчитываться. Это он ей обязан всем: и здоровьем, и образованием, и самой жизнью, и не сердился на нее за отца.

Она никогда не привлекала взглядов мужчин ни статью, ни красотой. На фронте вместе с танком сгорел ее жених, ее судьба и надежда. Когда она сильно затосковала, появился он, Толенька. И все. Больше в ее жизни ничего не было. Он свою мать жалел, хотя и жалость и снисходительность пришли позднее, когда стал взрослым. А мальчишкой... Если бы его попросили припомнить самое яркое воспоминание его детства, он вспомнил бы минуту, когда он, пятиклассник, встал во время урока и на вопрос учительницы об отце сказал громко и с вызовом: «У меня не было папы». Какая настала тишина! Ни одно перо не скрипнуло, ни один листок не шелохнулся. Учительница метнулась к столу и зачем-то закрыла журнал. А он стоял и ждал. Ждал, чтобы ему ответили: разве так бывает, чтобы дети рождались без отца?.. И его любимая учительница ничего не сказала, не ответила, а он так надеялся на нее! Ведь не может этого быть, у него есть отец...

С третьего класса он уже все знал о мужчине и женщине, он знал, что детей рожают в больнице беременные женщины и к ним приходят мужья и приносят передачи. И мужчины сильно переживают и ждут, когда их жены родят мальчика.

Он часто тихонько плакал под лестницей, если его обижали во дворе, а матери о драках не говорил. А что она делает? Вот если бы отец... Он рано

научился самостоятельности, он твердо усвоил, что надеяться может только на себя, и научился защищать себя сам.

Вот нарочито медленно он идет по двору, зная, что где-то недалеко его заклятый враг Димка-Мамис. Димка старше его на два года, он приземистый, широкоплечий и сильный. Вот он показался из подъезда. Анатолий сжал в кулаке камень, идет еще тише и уговаривает себя:

«Если не тронет и я его не трону, если не тронет...» Нет, Димка не задирается, он дует на палец, потом сует его в рот. Рубашка спереди закапана кровью. Он подходит совсем близко к Толе и говорит тихо и плутовато:

— Дай десять копеек... Дай, а то мамке скажу, что ты... — он показывает на разбитый палец и окровавленную рубашку. — Ну, даешь? Считаю до трех... Раз, два, два с половиной, два и три четверти... — и вдруг орет так истошно и дико что Анатолий от неожиданности бросается бежать. Димкина мать выскакивает из подъезда, как спущенная пружина, выходит бабушка, потом спускается отец и начинается представление. Все кричат, машут в сторону окон квартиры кулаками, вокруг сейчас же собираются соседи, а Димка заходится от крика.

Анатолий, затаившись за соседним забором, до самой ночи боится идти домой, а во дворе весь вечер только и разговоров: хулиган, руку ножом, растет безотцовщина...

А «безотцовский» сын пробирается домой, стараясь прошемыгнуть по лестнице незамеченным. Мать на дежурстве, он разбирает постель, но долго не ложится, придумывая кару Димке и его матери.

Но это уже позади. Он учился в девятом... После очередной драки они засели с приятелем на противоположной стороне улицы и из рогаток выбили три больших стекла в окнах Димкиной квартиры. Хозяев дома не было. С субботы на воскресенье они уезжали на дачу. Анатолий мог бы ручаться, что

никто их не видел; но соседи почему-то сразу догадались, и в понедельник их вызвали в милицию вместе с матерью. Вначале составляли протокол, потом дома уже пили чай с лейтенантом милиции Капитолиной Петровной.

Мать подливала ей в чашку, а сама все вздыхала и отводила со лба влажную прядку волос. Анатолий угрюмо молчал весь вечер, а потом спросил вдруг: — Где отец?— и повторил с угрозой:— Говори, где отец?

У матери затряслась рука, перетянутая толстыми синими венами, и чай из блюдца плеснулся на колени.

— В Караганде живет. В ремтресте работает бухгалтером...

Вскоре Анатолий уехал к отцу. Пробыл в Караганде всего два дня, приехал и успокоился. Матери сказал:

— Чем такой отец, лучше никакого. Ты прости меня,— и обнял ее, как взрослый.

— Сынок, ты не ссорься с этим из третьего подъезда. Он нехороший и опять какую-нибудь пакость устроит...

А чего ему с ним ссориться? Димку он давно перерос на целую голову, рано начав работать, он рано развился физически, и Димка до самого призыва в армию боялся лишний раз показываться ему на глаза.

Анатолий давно забыл обиды, а вот сын его будет расти без отца, и пройдет его, Анатолия, незаслуженно горькое и обидное детство сначала.

Он любит своего сына, он качал его в ладонях совсем маленького и мокрого. Красенького и некрасивого, укутанного в кружевные пеленки, бережно выносил из больницы и тем не менее его сын будет расти без отца.

Разве можно считать отцом ночную тень за окном?

* * *

Когда-то Анатолий читал у Льва Толстого определение «музыки человеческих характеров». Великий писатель и мудрец заключил, что самый лучший человек тот, который живет преимущественно своими мыслями и

чужими чувствами, а самый худший сорт человека, который живет чужими мыслями и своими чувствами. «Есть люди, не имеющие почти никаких, ни своих, ни чужих мыслей, ни своих чувств и живущие только чужими чувствами, это самоотверженные дурачки, святые. Есть люди, живущие только своими чувствами — это звери».

Это определение человеческой сути поразило Анатолия своей верностью и точностью, хотя вначале он не мог понять, чем живет «самый лучший человек». Как это? Своими мыслями и чужими чувствами? Он долго раздумывал над этим, перечитывал и применял это определение к своим друзьям и знакомым. Потом понял: самый лучший человек тот, который стоит выше личных чувств и интересов, в его решениях и делах самую первую роль играют собственные выводы и наблюдения — он честен. Этот человек прислушивается к чужому горю и сочувствует страдающему — он гуманен. Когда он попробовал это определение приложить к великим людям эпохи, оказалось, что они жили именно так. А сам он, Анатолий, как живет? Он удивился, узнавая в себе и самого лучшего и самого худшего человека. В гневе он жил только своими чувствами и становился зверем, в счастье глупел, так как жил чужими мыслями и чужими чувствами, на работе бывал то самым лучшим, то самым худшим человеком. С тех пор, как он узнал о себе это, он стал внимательно следить за своими поступками. Бригадир строителей — небольшая должность, но и здесь нельзя давать волю гневу, потому что разгоряченное сердце — не советчик в делах. Он всегда хотел быть объективным, значит, следовало судить о людях и их делах разумно, не считаясь с собственной симпатией или антипатией к человеку, так как пристрастный суд делу вредит.

Он презирал себя за те минуты, когда чувства брали верх и он бывал «зверем». Он всегда хотел бы оставаться «самым лучшим человеком», но как это

трудно быть просто хорошим человеком!

Вот сейчас гнев на жену распяляет его сердце, ревность мутит рассудок сценами измены. Погас свет, а он продолжает видеть все, додумывает увиденное до самых мельчайших деталей. Он скрипит зубами и стонет, и ему кажется: вот он проснется — и нет душной бессонной ночи, нет и не было тени у обнаженных Таниных рук. На работе, когда ревность — это подлое и мучительное чувство отпускало его, он понимал, что любит Татьяну не меньше, чем раньше, что не простит себе, если оставит сына.

Получил от Татьяны письмо, она просила его очень срочно приехать, взять отпуск и приехать. А он не мог ехать, пока не решится все в нем самом. По письму он видел, что она хочет встретиться с ним, а уехать она могла бы и так. Значит...

* * *

Малыш метался в бреду. Темными, безумными глазами глядел он на бабушку, на отца, на мать и никого не узнавал. Как только мать на минуту выпускала его ручонки, он вскакивал с постели, порывался бежать, бился руками и головой о стену, дико кричал и смеялся. Анатолий приехал утром, как только получил телеграмму от матери, и уже несколько часов сидел в коридоре больницы.

Кто сказал, что тоска зеленая? Она белая, как больничная стенка! Самая ядовитая, самая отчаянная тоска сжала руками сердце и давит, и давит. Анатолий сидит здесь, в коридоре, и ловит глаза нянечек и сестер, как нищий выпрашивает у врача здоровья и жизни своему сыну.

Мальчишка часто оставался один. Бабушка уже давно писала, просила забрать ребенка. Время в совхозе горячее, она на работе целый день, а мест в детском садике нет. Анатолий во всем винил себя и Татьяну. И от этой вины было еще тяжелее на душе. Алешка наелся белены и накормил белыми сладковатыми зернышками, так похожими на

манную кашу, своих товарищей. Сейчас все трое уже несколько часов подряд не закрывают наполненных безумием глаз, и в самом тяжелом состоянии его сын. Только под утро малыш уснул. Врач через стеклянную дверь успокаивающим жестом руки сказал Анатолию — все в порядке, все будет хорошо, не волнуйтесь, и пошел по коридору, на ходу снимая халат.

Облегчение, радость и боль под ложечкой от голода и желания самому посмотреть на спящего ребенка заставили Анатолия выйти на крыльцо. Он прошел под окнами, вокруг больницы, приподнялся на фундамент, заглядывая в окна. В палатах было еще темновато, и ему приходилось прижимать лицо к стеклу, чтобы что-либо увидеть в сером сумраке раннего утра. Он прижал грязные ладони к самому стеклу и вдруг натолкнулся глазами на взгляд Татьяны. Бледная и похудевшая, она смотрела в окно и не видела его. Ему пришлось тихонько постучать пальцами о стекло. Татьяна встряхнула головой и закивала ему часто-часто, улыбаясь печально и радостно, и жалко. Он махнул рукой: выйди. Она постояла у кровати ребенка, такая виноватая и такая отрешенная от всего, что он испугался за нее и пожалел запоздалой жалостью. И каким никчемным и мелким показалось ему все, что было до болезни сына, и каким важным и значительным то, что он жив и спокойно спит и завтра или послезавтра будет топтать босыми толстыми пятками по желтому полу, а Татьяна будет сердиться, надевая на него сандалии. Они окажутся опять малы и придется спереди обрезать носок, чтобы Алешка походил в них еще неделю-другую.

Татьяна вышла голубая от бессонницы, спокойно подошла, положила руки на плечи.

— Толя, я виновата перед тобой. Мне надо сказать тебе...

Анатолий торопливо и больно прижал ее голову к груди.

— Не надо об этом.

Татьяна высвободила голову, посмотрела внимательно:

— Я всегда знала, знала, что...
Она закивала опять часто-часто, и слезы крупным горохом покатались по ее бледному лицу.

— Не надо, не надо...

Он не хотел, он просил, он умолял ее не плакать, потому что это мучительно видеть, как плачет обиженная женщина или потерявшийся ребенок.

Они постояли у крыльца. Солнце только-только показалось, а уже по-светлело все, воробьи закричали враз и зассорились, засуетились на дороге. Татьяна сняла халат, повесила его на дверную ручку, и они, не сговариваясь, пошли к дому деда Матвея.

Семьи Анатолия и деда Матвея Егоровича много лет после давней ссоры не ладили. Не здоровались старшие, не дружили взрослые и вместе не играли дети. Под старость дед Матвей и бабка Анна, мать Анатолия, остались в домах одни, но по-прежнему не здоровались и не разговаривали. Бабка Анна уходила на работу, а дед — много старше ее, оставался дома. Он целый день ходил по своему двору, что-то прилаживал, чинил старый плетень, деловито постукивая маленьким топориком.

Алешка повадился лазить через дырку в заборе к деду в сад за малиной. Бабка Анна не раз наказывала внука, громко кричала на него, чтобы слышал дед Матвей. И странное дело, дед все лето чинил плетень, а заделать лаз, старый, так и не догадался. Бабка Анна часто подглядывала из кладовки за дедом Матвеем и Алешкой и, прикрывая рот ладошкой, тихо смеялась. Дед тайком вырвал вдоль своего плетня всю крапиву, чтобы Алешка не обжарил коленки. Воровато оглянувшись, дед ставил чашку со смородиной прямо у самой дырки в плетне, но Алешка, пыхтя, продирался через густую малину, а смородину из чашки не трогал. Смородина у деда росла в дальнем конце огорода, и Алешка туда не добирался, а из чашки есть было не интересно.

Бабка Анна по утрам, выпустив Алешку, в новом цветастом платке проходила мимо соседа, не поворачивая

головы, а дед оставался непрошеной, но надежной нянькой. Он и принес Алешку в больницу. Алешка кусался, царапал деду лицо, а дед терпел, не отдавая его дорогой никому, считая себя виноватым. «Не углядел, старый, не углядел»,— горестно бормотал он.

Анатолий и Татьяна подошли к дому соседа, дед Матвей сидел на крыльце и починял старый валенок. Деревянные шпильки он держал во рту, потому и не ответил на приветствие. Анатолий снял городскую шляпу, подал руку, а у деда руки заняты.

— Спасибо тебе, Матвей Егорович,— и вдруг обнял старика. Лапа и валенок вывалились у деда, он сконфуженно отбивался от дюжих рук Анатолия.

— Табачищем, табачищем-то от тебя прет,— дед был строгих правил и табак не курил.

— Пусти ты меня за ради Христа, пусти,— он вырвался, наконец, из объятий ненавистного соседа и, хмурый, потянулся за валенком и лапой.

Но Анатолий теперь знал и никто бы не смог убедить его в обратном — дед самый лучший человек, потому что он живет своими мыслями и чужими чувствами.